



אשכולות
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЭШКОЛОТ
www.eshkolot.ru

при поддержке

אבי אבי
חן שני

ЖАБОТИНСКИЙ: РУССКИЙ РОМАНИСТ И ЕВРЕЙСКИЙ РАДИКАЛ



*Антология источников
к мини-курсу Хиллела Халкина*

Москва
сентябрь 2011 г.
проект «Эшколот»
www.eshkolot.ru

Владимир Жаботинский Из романа «Пятеро» (1936)

Фрагмент 1 (глава III)

Оглядываясь на все это через тридцать лет, я, однако, думаю, что любопытнее всего было тогда у нас мирное братание народностей. Все восемь или десять племен старой Одессы встречались в этом клубе, и действительно никому еще не приходило в голову хотя бы молча для себя отметить, кто кто. Года через два это изменилось, но на самой заре века мы искренно ладили. Странно; дома у себя все мы, кажется, жили врозь от инородцев, посещали и приглашали поляки поляков, русские русских, евреи евреев; исключения попадались сравнительно редко; но мы еще не задумывались, почему это так, подсознательно считали это явление просто временным недосмотром, а вавилонскую пестроту общего форума – символом прекрасного завтра. Может быть, лучше всего выразил это настроение – его примирительную поверхность и его подземную угрозу – один честный и глупый собутыльник мой, оперный тенор с украинской фамилией, когда, подвыпив на субботнике, подошел после ужина обнять меня за какую то застольную речь:

– За самую печенку вы меня сегодня цапнули, – сказал он, трижды лобызаясь, – водой нас теперь не разольешь: побратимы на всю жизнь. Жаль только, что вот еще болтают люди про веру: один русский, другой еврей. Какая разница? Была бы душа общая, как у нас с вами. А вот Х. – тот другое дело: у него душа еврейская. Подлая это душа...

Фрагмент 2 (глава XXI)

Неуютно стало и вообще в Одессе. Я не узнавал нашего города, такого еще недавно легкого и беззлобного. Ненависть его наводнила, которой никогда, говорят, не знала до того метрополия мягкого нашего юга, созданная ладной и влюбленной хлопотнею, в течение века, четырех мировых рас. Вечно они ссорились и в голос ругали друг друга то жульем, то бестолочью, случалось и подраться; но за мою память не было настоящей волчьей вражды. Теперь это все переменялось. Исчез первый знак благоволения в человецех – исчезла южная привычка считать улицу домом. Теперь мы по улице ходили с опаской, ночью торопились и жались поближе к тени...

Фрагмент 3 (глава XXV)

– Все дело в постепенности, – говорил мне адвокат, – в постепенности, и еще в одной коротенькой фразе, вопросительной фразе из трех коротеньких слов. Вы мне только что рассказали, что давно слышали именно эту фразу от самого Сергея Мильгрома – когда еще юношей отговаривали его от общения с какой-то шайкой шулеров; но дело не в Сергее Мильгrome, дело в том, что эта фраза характерна, убий-

ственно характерна, для всего его поколения. Фраза эта гласит: «а почему нельзя?». Уверяю вас, что никакая мощь агитации не сравнится, по разъедающему своему действию, с этим вопросом. Нравственное равновесие человечества искони держится именно только на том, что есть аксиомы: есть запертые двери с надписью «нельзя». Просто «нельзя», без объяснений, аксиомы держатся прочно, и двери заперты, и половицы не проваливаются, и обращение планет вокруг солнца совершается по заведенному порядку. Но поставьте только раз этот вопрос: а почему «нельзя»? – и аксиомы рухнут. Ошибочно думать, будто аксиома есть очевидность, которую «не стоит» доказывать, до того она всем ясна: нет, друг мой, аксиомой называется такое положение, которое (немыслимо доказать; немыслимо, даже если бы весь мир (взбунтовался и потребовал: докажи! И как только вопрос этот поставлен – кончено. Эта коротенькая фраза – все равно, что разрыв-трава: все запертые двери перед нею разлетаются вдребезги; нет больше «нельзя», все «можно»; не только правила условной морали, вроде «не украдь» или «не лги», но даже самые безотчетные, самые подкожные (как в этом деле) реакции человеческой природы – стыд, физическая брезгливость, голос крови – все рассыпается прахом. Для нравственных устоев наших этот коротенький вопрос – то же самое, что та бутылочка серной кислоты для глаз и лица. Ваш Сергей Мильгром только получил обратно ту же дозу, которую сам первый плеснул куда не полагается.

Фрагмент 4 (глава XXV)

– Страшное это слово «можно», – говорил он мне потом, чуть ли не на заре. – И вот что я вам скажу, только не повторяйте от моего имени – я, вы знаете, давно переименовал в паспорте вероисповедную пометку и тем отказался от права судить свою бывшую общину; да и принципиально я, как вы знаете, не ваш единомышленник, верю в ассимиляцию и сознательно хочу ассимиляции. Но нельзя закрывать глаз на то, что первые стадии массовой ассимиляции – тяжелое явление. Русская культура велика и бездонна, как море, и чиста, как море; но, когда вы с морского берега сходите в воду, первые сажени приходится плыть среди гнилой тины, щепок, арбузных корок... Ассимиляция начинается именно с разрыхления старых предрассудков; а предрассудок – святая вещь, это еще Баратынский пел: «он – обломок древней правды». Может быть, все истинное содержание морали, даже содержание самого понятия культурности состоит из предрассудков; но в каждой культуре они – свои, самобытные, и при переходе от одной ко второй получается долгий срок перерыва – прежние пали, новые еще не усвоены; очень долгий срок, может быть и не одно, и не два поколения, а больше. И знаете что? только не рассердитесь, вы большой у нас муниципальный патриот – я тоже – а все таки это правда: нет во всей России более яркой панорамы этого перерыва культурной преемственности, чем наша добрая веселая Одесса. Я не только о евреях говорю: то же с греками, с итальянцами, с поляками, даже с «русскими» – ведь и они, в массе, природные хохлы, только «пошы-

лысь у кацапы»; но всего яснее, конечно, это сказалось на евреях. Оттуда, вероятно, и особая эта задорная искрометность здешней среды, над которой так смеется вся Россия и которую мы с вами так любим: так ведь нередко бывает, что эпохи развала устоев считаются эпохами блеска.

Фрагмент 5 (глава XXIX)

У людей, говорят, самое это имя Одесса – вроде как потешный анекдот. Я за это, собственно говоря, не в обиде: конечно, очень уж открывать им свою тоску не стоит, но за смешливое отношение к моей родине я не в обиде. Может быть, вправду смешной был город; может быть, оттого смешной, что сам так охотно смеялся. Десять племен рядом, и все какие, на подбор, живописные племена, одно курьезнее другого: начали с того, что смеялись друг над другом, а потом научились смеяться и над собою, и надо всем на свете, даже над тем, что болит, и даже над тем, что любимо. Постепенно стерли друг о дружку свои обычаи, отучились принимать чересчур всерьез свои собственные алтари, постепенно вникли в одну важную тайну мира сего: что твоя святыня у соседа чепуха, а ведь сосед тоже не вор и не бродяга; может быть, он прав, а может быть и нет, убиваться не стоит. – Торик сказал: «разложение». Может быть, и прав; адвокат, защищавший Ровенского, тоже говорил о распаде, но прибавил: эпохи распада иногда самые обаятельные эпохи. – А кто знает: может быть, и не только обаятельные, но и по своему высокие? Конечно, я в том лагере, который взбунтовался против распада, не хочу соседей, хочу всех людей разместить по островам; но – кто знает? Одно ведь уж наверно доказанная историческая правда: надо пройти через распад, чтобы добраться до восстановления.

Фрагмент 6 (глава I)

Об этом шумели студенты и в той группе, где я нашел своих приятелей; сквозь их весьма повышенные тоны я слышал, что и в соседней толпе, особенно многолюдной, кипятились о том же. Вдруг я заметил, что в центре там стояла та рыжая барышня. На вид ей было лет девятнадцать. Она была невысокого роста, но сложена прекрасно по сдобному вкусу того полнокровного времени; на ней был, конечно, тесный корсет с талией и боками, но, по-видимому, без «чашек», что в среднем кругу, как мне говорили, считалось новшеством нескромным; и рукава буфами не доходили даже до локтей, и хотя воротник платья по-монашески подпирал ей горло, под воротничком спереди все-таки был вырез вершка в полтора, тоже по тогдашнему дерзость. В довершение этого внешнего впечатления, до меня донеслись такие отрывки разговора:

– Но мыслимо ли, – горячился студент, – чтобы Принцивалле...

– Ужас! – воскликнула рыжая барышня, – я бы на месте Моны Ванны никогда этого не допустила. Такой балда!

Окружающие засмеялись, а один из них совсем заликовал:

– Вы прелесть, Маруся, всегда скажете такую вещь, что расцеловать хочется...
– Подумаешь, экое отличие, – равнодушно отозвалась Маруся, – и так скоро не останется на Дерибасовской ни одного студента, который мог бы похвастаться, что никогда со мной не целовался.

Больше я не расслышал, хотя начал нарочно прислушиваться.

Фрагмент 7 (глава XXVIII)

– Начну с одной *mise au point*: я не хотел бы создать впечатление, будто мне это решение, что называется, «дорого обошлось», что пришлось «бороться» с самим собою. Эмоционального отношения к этой категории вопросов у меня нет, с самого раннего детства было только отношение рациональное. Но именно в рациональном подходе нужна особая осторожность; и рациональный подход, по крайней мере для меня, совершенно не освобождает человека от этической повинности быть чистоплотным. Например: мне кажется, попади я в кораблекрушение, никогда бы не соскочил в лодку, пока не усадили бы всех женщин и детей и стариков и калек; по крайней мере, надеюсь, что хватило бы силы не соскочить. – Но другое дело – корабль, с которого уже давно все поскакали, или внутренне решили соскочить; притом спасательных лодок вокруг – сколько угодно, места для всех хватит; да и корабль не тонет, а просто неудобный корабль, грязный и тесный, и никуда не идет, а всем надоел.

Я пожал плечами:

– Откуда вы знаете? Вы здесь в Одессе никогда и не видали настоящего гетто.

– Нет, видел: с отрочества и до последних лет, как почти все мои товарищи, готовил на аттестат зрелости экстернов – «выходцы пинского болота», как их называла Маруся. Это, мне кажется, очень верный способ для изучения данной среды: по образцам; может быть, гораздо более точный способ, чем разглядывать эту среду изнутри, когда из за гвалта и толкотни ничего не разберешь. Толковый химик в лаборатории, повозившись над вытяжкой крови пациента, больше узнает о болезни, чем доктор, который лечит живого человека с капризами, припадками и промежутками. И мой диагноз установлен бесповоротно: разложение. Еврейский народ разбредается куда попало, и назад к самому себе больше не вернется.

– А сионизм? или даже Бунд?

– Бунд и сионизм, если рассуждать клинически, одно и то же. Бунд – приготовительный класс, или, скажем, городское училище: подводит к сионизму; кажется, Плеханов это сказал о Бунде – «сионисты, боящиеся морской качки». А сионизм – это уже вроде полной гимназии: готовит в университет. А «университет», куда все они подсознательно идут, и придут, называется ассимиляция. Постепенная, неохотная, безрадостная, по большей части даже сразу невыгодная, но неизбежная и бесповоротная, с крещением, смешанными браками и полной ликвидацией расы. Другого пути нет. Бунд цепляется за жаргон; говорят, замечательнейший язык на

свете – я его мало знаю, но экстерны мои, например, цитировали уайтчепельское слово «бойчикль» – хлопчик, что ли – ведь это *tour de force*: элементы трех языков в одном коротеньком слове, и звучит естественно, идеальная амальгама; но через 25 лет никакого жаргона не будет. И Сиона никакого не будет; а останется только одно – желание «быть, как все народы».

Я мог задать еще двадцать вопросов: – а религия? а антисемитизм? – но у него, должно быть, на все готовы были непромокаемые ответы; я промолчал, он продолжал:

– Лучшая школа для всего этого, по моему, наша семья: дети, мы пятеро. Каждый по своему ценная личность, только без догмата: и смотрите, что вышло. Отдельно о каждом из нас говорить не хочу; только хочу защититься, чтобы вы не подумали, будто я Марусе не знаю цены. Хорошо знаю: стоило, тысячу раз стоило Господу Богу сотворить мир со всеми его мерзостями, и стоило целому народу для того протаскаться сквозь строй мук и разложения, если за эту цену может раз в поколение расцвести на земле такой золотой василек; существо, одержимое одной заботой – всех приголубить, всем дать уют. Но вы сами знаете, что и Маруся – цветок декаданса.

Фрагмент 8 (глава XXVII)

Потом что то завозилось в коридоре, послышалось, вероятно, знакомое пыхтение, дверь отворилась, ввалился Мишка; объявил, вероятно, «відчиныла!», и, как полагалось по закону, не переступая черты мамино угла, где горит огонь, занялся своими делами у порога. Его Каллиопа Несторовна тоже все время видела со своего подоконника: запомнила, и рассказала Штроку, что – покуда совершалось второе кипячение – он гарцовал на половой щетке, а потом, когда надоело, бросил щетку на пол, широкой мохнатой перекладной к себе, а концом палки, поперек кухни, к Марусе. Дверь он оставил открытой, а день был ветреный.

Фрагмент 9 (глава XXVII)

И еще за одно ручалась Каллиопа Несторовна: что в ту же самую секунду, еще прежде, чем начать срывать с себя распашонку, Маруся шархнула к половой щетке, нагнулась, схватила конец палки и «вымела дите в коридор», и щеткой же захлопнула за ним дверь.

После этого только попыталась она что то сделать со своим платьем; но уже ничего нельзя было сделать. Каллиопа Несторовна уже нашла свой голос, уже кричала, и сквозь свой крик услышала, что Маруся стонет: видела, как она, еще стоя на ногах посреди кухни, извивается и бессмысленно тормозит руками, хватаясь то за грудь, то за колена. Еще через секунду она что то начала кричать, но гречанка сама кричала, ничего понять не могла. Кажется, Маруся подбежала сначала к окну, может быть, хотела выброститься, но не посмела, и только потом стала кататься по полу;

или сначала упала, потом вскочила и высунулась в окно – ничего уж нельзя было разобрать из рассказа соседки.

Нервно дергая редкие усы и не глядя на меня, Штрок объяснил мне, чего не видела Каллиопа Несторовна; чего, может быть, никогда и не бывало до тех пор на земле, и не верю, что еще снова будет: и второй Маруси не будет.

– Главное вот что: когда ученик взбежал по лестнице, дверь на кухню оказалась запертой на ключ изнутри; а ключ потом нашли на улице. Понимаете? Там, за дверью, плачет испуганный Мишка; и там этот проклятый сундук, и Мишка уже верно лезет на сундук и собирается «відчинять». Значит: она бросается к двери -- или, может быть, уже ползет к двери на четвереньках – и поворачивает ключ. Я бы первым делом кинулся вон из кухни, к людям: а она запирается на ключ, потому что в коридоре Мишка.

– Поймите, это еще не самое главное. Почему ключ оказался на улице? Ясно. Не только мне и вам, но всякому человеку в такую минуту прежде всего хочется выбежать. Мадам Козодой, в конце концов, тоже только человек, ей тоже хочется выбежать; чем дальше, все больше хочется выбежать, или уже, скажем, выползти. Тут уже даже не на секунды счет, а на какие то сотые доли; но для нее каждая такая доля – целый промежуток, и с каждым промежутком ей становится все яснее: не выдержу, выбегу! А там Мишка. Ключ у нее, скажем, остался в руке. Или еще иначе: ключ остался в двери, и вот пришла такая доля секунды, когда рука сама потянулась к ключу. И тут мадам Козодой говорит сама себе: Нет. Нельзя. И чтобы не было больше спору, выбрасывает ключ на улицу.

Фрагмент 10 (глава XXIX)

А над Луканией опять будет полумесяц, пахнет отцветающими цветами, слышится только что отзвучавшая музыка мелодий, которых давно уже нигде не играют; и опять все будет, как тогда в нашу безбрачную ночь, только говорить надо будет не словами, а думами. Я буду думать о том, какое чудное слово «ласка». Все, что есть на свете хорошего, все ведь это ласка: свет луны, морской плеск и шелест ветвей, запах цветов или музыка – все ласка. И Бог, если добраться до него, растолкать, разбудить, разбранить последними словами

за все, что натворил, а потом помириться и прижать лицо к его коленям, – он, вероятно, тоже ласка. А лучшая и светлейшая ласка называется женщина.

Потешный был город; но и смех – тоже ласка. Впрочем, вероятно, той Одессы уж давно нет и в помине, и нечего жалеть, что я туда не попаду; и вообще повесть кончена.

Из романа «Самсон Назорей» (1926)

Фрагмент 11 (глава II)

Кстати, господин: нет ли и в Филистии такого бога, и не в его ли честь дано тебе это имя?

Оба опять расхохотались, на этот раз так заразительно, что и остальные обернулись в их сторону, глядя оловянными глазами и спрашивая непрочными голосами, в чем дело. Через минуту весь стол уже заливался; одни хлопали себя по макушке, другие стучали кулаками по столу, третьи стонали – видно было, что Махбоной задал необычайно смешной вопрос.

– Это не имя, а прозвище, – сказал, наконец, Таиш, вытирая глаза, – и я не филистимлянин: я из племени Дана.

– А Козлом мы его прозвали за то, что он такой мохнатый! – объяснил Ахтур и ловко сорвал с головы соседа шапку. Из-под нее свалилась ему на лоб, на уши, на затылок до самых плеч грива темнорусых волос, на редкость густых и тонких.

Края их, ладони с полторы от конца, были заплетены в семь тугих жгутов, каждый толщиной с большой палец.

Левит побледнел и слегка отстранился.

– Ты, значит, назорей? – спросил он вполголоса. – Как же так.. а это? – и он указал на кубок, стоявший перед Таишем, и на расплеснутое по столу вино. Он был серьезно потрясен. Как называется божество, в честь которого производятся обряды, это он не считал столь важным; но обряд есть обряд, и нарушать его нельзя.

Таиш, однако, был другого мнения. Он весело и громко ответил:

– В Цоре я назорей; в земле Ефремовой 12 – тоже; тут я не я. В роще – маслина, в поле – пшеница; всему свое место.

И он допил свое вино, причем Ахтур деликатно захлопал в белые ладоши.

– Это грех, господин, – настаивал левит.

Выражение лица Таиша вдруг изменилось; охмелевшие глаза взглянули строго и сурово, углы рта подтянулись, ноздри напряглись; он нагнулся к уху левита и сказал отчетливо:

– Время человеку бодрствовать и время спать. Там я бодрствую; здесь я вижу сны; а на сон нет закона. Пей и молчи!

Фрагмент 12 (глава XII)

Самое сильное впечатление произвел на Самсона рассказ о храмовом празднике в Газе: как на площади перед храмом стояли тысячи юношей и тысячи девушек, все в одинаковой белой одежде, все на одном расстоянии друг от друга; застыли как каменные, среди молчания несметной толпы, и вонзили глаза в начальника пляски, стоявшего на ступени храма; и вдруг он поднял руку и тысячи юношей и тысячи девушек, как один человек, в одно и то же мгновение подняли руки, изогнулись,

ступили вправо, ступили влево, обернувшись вокруг самих себя - как один человек! Ничто в ее рассказах не потрясло Самсона, как эта картина, не дало ему такого ощущения могущества и накопленной соборной мудрости. Он заставил ее повторить описание несколько раз и сказал ей:

– Я должен это увидеть; мы пойдем с тобой в Газу на будущий праздник.

Фрагмент 13 (глава XXI)

Однажды в Газе он видел зрелище, о котором когда-то рассказывала ему Семадар.

На площади перед храмом собрались на праздничную пляску юноши и девушки. Их было несколько тысяч – по одному на каждой плите. Все они были одеты одинаково, все в белом; на юношах были короткие опоясанные рубашки, на девушках – платья с оборками до самой земли, в талию, с длинными рукавами, как обычно, только с голым вырезом во всю ширину и глубину груди. Выстроили их по росту, двумя лагерями: справа молодые люди, а девушки слева. Управлял танцем безбородый жрец; он стоял на верхней ступени паперти, и в руках у него была палочка из слоновой кости.

Когда началась музыка, все застыли – и участники пляски на плитах, и громадная толпа кругом, на деревянных подмостках, на крышах домов, на немощенных обочинах площади; слышен был рев прибоя с набережной далекого Маима, порта Газы. На танцующих не колыхнулась ни одна складка; даже у оголенных девушек трудно было заметить дыхание. Безбородый жрец побледнел и ушел глазами в них, они в него; он бледнел все больше – казалось, что весь задержанный порыв этих тысяч сгустился в его груди и сейчас его задушит насмерть. Самсон и сам чувствовал, что кровь прилила к его сердцу, и если это продлится еще несколько мгновений, он захлебнется. Вдруг этот жрец быстро, почти незаметно, едва-едва поднял палочку, и все белые фигуры на площади упали на левое колено и выбросили к небу правую руку – одним движением, с одним отрывистым аккордом шороха, точь-в-точь. У десяти тысячной толпы вырвался вздох или стон; Самсон пошатнулся и заметил, что облизывает кровь – так он закусил перед этим губу.

Вся пляска состояла из таких поворотов по мановению палочки, то резких, то плавных, и тянулась она недолго. Но Самсон ушел с праздника в глубокой задумчивости. Еще в передаче Семадар его поразила эта картина единой воли, стройно движущей тысячами. Теперь она его подавила своим колдовством. Он не мог бы высказать эту мысль, но смутно чувствовал, что тут ему показали главную тайну народов, создающих государства.

Фрагмент 14 (глава XXV)

– Крепко ты его любишь, – проговорила она. Нехуштан покачал головой.

– «Любишь», - повторил он, проверяя и взвешивая это слово. – Это не так. Разве он брат мне или приятель? Он мой господин.

Он произнес «господин» как-то по-особенному, точно это было самое главное слово на всех языках человеческих; и Далилу вдруг почему-то взяла на него ревнивая злоба. Ей захотелось уколоть его. Она сказала:

– Я думала, что только у пса есть господин или у раба из туземцев.

Он не обиделся: посмотрел на нее внимательно, потом задумался, стараясь что-то сообразить, и ответил:

– «Пес» у людей бранное слово. А по-моему, самый свободный зверь на свете – собака.

Видно было, что ему трудно все это объяснить, но он попытался:

– В детстве я был пастухом: знаю животных – и стадо, и зверя, и хищную птицу.

Все они как наш туземец: ничего нет у них на душе, кроме заботы. Куда летит орел, куда крадется пантера? Не туда, куда хочется, а туда, где лежит добыча. Вся хитрость их и вся отвага – только для этого. А у собаки нет заботы: еду швыряет ей пастух, и думает за нее пастух, и посылает ее пастух...

– Разве это – свобода?

Он кивнул головой с большой уверенностью:

– Кто свободен? Тот, кто может делать вещи, в которых нет нужды. Собака может: она прыгает, как малое дитя, она кладет лапы мне на плечи, и воет на луну, и защищает овцу и меня, даже до смерти. Орел может делать только то, что ему нужно: потому что у него забота, а у пса ее нет.

И он опять улыбнулся ей, совсем беззлобно и приветливо:

– Ты права, госпожа, – я – как пес: пастух забрал себе мою заботу, и ему трудно, а я скачу на свободе.

Далила смотрела на него исподлобья и проговорила, почти про себя:

– Все они, видно, ищут фараона... Он не расслышал или не понял, кроме слова «все», и на это слово отозвался:

– Все не все, но таких, как я, много у нас, и в земле Дана, и в земле Иуды, сердце их в груди у Самсона. Если бы он только захотел их созвать!..

– Что тогда?

– Повел бы, куда угодно.

– А если бы завел в беду и погибель?

– Это все равно. Не наше дело думать. Он бы за нас думал. Заблудился – значит, так надо. Он потрянул головой и закончил:

– Но не позовет их Самсон. Самсон не любит людей.

Фрагмент 15 (глава XXX)

– Но нас ты любишь, – сказал саран.

– Вас я люблю, – подтвердил Самсон. – Дана зато не люблю, его родичей ненавижу. Там все поиному. Когда приходит человеку возраст сидеть у ворот на сходе старейшин, невыносим в своем доме становится тот человек: за месяц до схода

и месяц потом говорит только о городской заботе и волчьими глазами глядит на соседа, старого друга, который рассудил по-иному, не по его суждению. Там левит – пройдоха с масляным языком; разбуди его со сна – он тут же сочинит молитву новому богу, о котором никогда не слышал; но если ты посмеешься над этой же молитвой, он огорчится и отвернется. Жизнь их как песок, вся из мелочей, но за каждую мелочь они готовы ссориться, радоваться безмерно, убиваться безгранично. У вас есть порядок даже в пашне туземца; он, под вашим надзором, тоже проводит ровные полосы. У Дана нет надзирателя, пашет он сам, суетливо, бестолково; завидует и соседу, и туземцу, всегда кого-то хочет опередить на всех дорогах, – и оттого повсюду заброшены его сети, повсюду засеяно его зерно. Чина и правила там нет: есть мешанина городов, божниц, мыслей; земледелец ненавидит пастуха, Вениамин Иуду, пророки – всех. Но над этим есть одно единое для всех: голодное сердце. Жадность ко всем вещам, виданным и невиданным. В каждой душе мятеж против того, что есть, и возглас: еще! еще

– Сброд, – брезгливо отозвался саран, объединит его только палка. Это я тебе и предлагаю.

Самсон засмеялся:

– Зачем это вам, саран? Чтобы они вас еще скорее проглотили? Все равно проглотят.

Саран отшатнулся; но он был человек сдержанный. Не поддаваясь раздражению, он спросил:

– Неужели ты в это веришь?

Фрагмент 16 (глава XXXIII)

– А ты как живешь, Самсон? – робко спросил его Хермеш.

Самсон ответил резко:

– Весело живу; а дальше будет еще веселее.

И по движению мускулов на плече Хермеша под его рукою он почувствовал, что тот низко опустил голову.

– Мне пора, – сказал наконец Хермеш. Отвести ли тебя к твоему дому, или позвать к тебе детей? Они недалеко.

– Оставь меня здесь. Они сами прибегут. Хермеш помялся и спросил:

– Передать ли что нашим от тебя? Самсон подумал, потом сказал медленно:

– Две вещи передай им от меня, два слова. Первое слово: железо. Пусть копят железо. Пусть отдадут за железо все, что есть у них: серебро и пшеницу, масло и вино и стада, жен и дочерей. Все за железо. Ничего дороже нет на свете, чем железо. Передашь?

– Передам. Это они поймут.

– Второго слова они еще не поймут; но должны понять, и скоро. Второе слово: царь. Передай это Дану, Вениамину, Иуде, Ефрему : царь! Один человек подаст им

ЖАБОТИНСКИЙ: РУССКИЙ РОМАНИСТ И ЕВРЕЙСКИЙ РАДИКАЛ

знак, и тысячи разом подымут руку. Так у филистимлян; и оттого филистимляне - господа Ханаана. Передай от Цоры до Хеврона и Сихема, и дальше, до Эндора и Лаиша: царь!

– Передам, – сказал Хермеш.

– Ступай, – сказал Самсон.

Хермеш схватил его руку и стал ее целовать; и, не отрываясь от руки, он спросил трепетным голосом:

– Эти два слова я скажу от тебя народу: но людям, нам, которые тебя любили, – нам и нашим детям ничего ты не хочешь сказать?

На руку Самсона упала теплая капля, и еще и еще; на минуту захватило его искушение - рассказать Хермешу то, что открыл ему, умирая, аввеец Анкор. Но зачем? Поздно. И они поверили. Пусть. И он высвободил руку и ответил, отворачиваясь:

– Ничего.

Хермеш побрел по песку назад; вдруг Самсон его окликнул. Он оглянулся: Самсон старательно вытирал влажный тыл ладони, и сказал ему:

– Я передумал. Не два, а три завета передай им от меня: чтобы копили железо; чтобы выбрали царя; и чтобы научились смеяться.



אשכולות
КУЛЬТУРНО-РАЗВИВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЭШКОЛОТ
www.eshkolot.ru

при поддержке

